

КНИГА
ПЕРВАЯ
УТРЕННИЕ
СМЕНЫ

ПЕРВАЯ УТРЕННЯЯ СМЕНА

Рассказывай ты. Нет, лучше вы расскажите. Или ты будешь рассказывать? Может, лучше господин артист начнет? Или пугала, все скопом? А может, подождем, покуда восемь планет не сойдутся в знаке Водолея?* Ну хорошо, прошу вас, начинайте вы! В конце концов, ведь это ваш кобель тогда... Да, но прежде чем мой кобель, ваша сука тоже... а до нее многие суки от многих кобелей... Но должен же кто-то начать — ты или он, вы или я... Итак: давным-давно, много-много закатов тому назад, задолго до того, как мы появились на свет, уже текла, не отражая нас в своих водах, Висла, текла каждый божий день и впадала куда следует.

Летописца, чье перо выводит эти строки, в данное время зовут Брауксель, и он по роду работы командует то ли рудником, то ли шахтой, где добывается, однако, не руда, не уголь и не калийная соль, но где, тем не менее, в поте лица своего трудятся сто тридцать четыре рабочих и служащих, вкалывая на откаточных штреках и промежуточных горизонтах, в забоях и квершлагах, не покладая рук ни в бухгалтерии, ни на отгрузке, и все это изо дня в день, из смены в смену.

Неуправляемо и коварно несла свои воды Висла в прежние времена. Покуда не созданы были многие тысячи землекопов и в году одна тысяча восьмьсот девяносто пятом не прорыли между косовыми деревнями Шивенхорст и Никельсвальде с севера к югу протоку, так называемый «стежок». И он, этот «стежок», приняв воды Вислы в свое прямое, как по шнурку протянутое русло, уменьшил опасность наводнений и паводков.

Летописец Брауксель по большей части пишет свое имя через «кс», как «ксива», но иногда и через «хс» — Браухсель. А иной раз, в соответствующем настроении, он именует себя Брайксель, почти как Вайксель, то бишь Висла по-немецки. Игривость и педантизм водят его рукою попеременно и ничуть друг другу не мешают.

От горизонта к горизонту протянулись вдоль Вислы дамбы, и под присмотром главного комиссара водорегулирующих сооружений в Большой Пойме Мариенвердер надлежало этим дамбам противостоять как могучим весенним половодьям, так и августовским «доминиканским» паводкам*. И не приведи бог, если в дамбе заводились мыши.

Тот, чье перо выводит сейчас эти строки, тот, кто командует то ли рудником, то ли шахтой и пишет свое имя по-разному, изобразил на расчищенной для такого случая столешнице с помощью семидесяти трех сигаретных бычков, добытых честным двухдневным трудом заядлого курильщика, русло Вислы в двух вариантах — до и после урегулирования: табачная труха вперемешку с рыхлым серым пеплом обозначит течение реки со всеми его тремя устьями, обгорелые спички — это дамбы, что удерживают строптивую реку в ее зыбких берегах.

Итак, много-много закатов тому назад: вот и господин главный комиссар водорегулирующих сооружений не спеша спускается вниз по склону, где возле села Кокоцко, аккуратно против меннонитского кладбища*, в восьмьсот пятьдесят пятом прорвало дамбу — в кронах деревьев потом неделями торчали гробы, — он же, пеший ли, конный или на лодке, в своем неизменном сюртуке с неизменной чекушкой рисовой араки в оттопыренном кармане, он, Вильгельм Эренталь*, тот самый, что в свое время в потешных и торжественных, на античный манер сложенных виршах сочинил знаменитую «Дамбоспасительную эпистолу», после публикации преподнеся ее с дружественным напутствием всем окрестным зрителям дамб*, сельским учителям и меннонитским

проповедникам, он, упомянутый здесь в первый и последний раз, дабы никогда больше не появиться на этих страницах, — вот он блюдет свой неусыпный дозор вверх ли, вниз по течению, пристально оглядывая плетеные перемычки и полузапруды-буны и нещадно гоняя с дамбы поросят, ибо, согласно земельно-правовому уложению от ноября месяца года одна тысяча восемьсот сорок седьмого, параграф восемь, пункт два, «запрещается всякой скотине, пернатой равно копытной, на дамбах пастись и особливо рыться».

По левую руку солнце падает к закату. Брауксель ломает надвое спичку: второе устье Вислы возникло второго февраля тысяча восемьсот сорокового без какого-либо участия землекопов, когда река, запруженная льдом, прорвала косу, слизнув по пути две деревни, что, в свою очередь, привело к образованию двух новых селений, рыбацких деревушек Западный Нойфер и Восточный Нойфер. Однако, сколь ни богаты обе эти деревушки своими байками, преданиями и замечательными небывальщинами, мы будем вести речь главным образом о двух других, что расположились на восточном и западном берегах первого — не по времени, но по течению — устья: Шивенхорст и Никельсвальде были, да и сейчас остаются последними деревнями вдоль «стежка», между которыми есть паромная переправа, ибо уже пятьюстами метрами ниже мутный исток Вислы, чаще глинисто-желтый, чем пепельно-серый, изливается с просторов нынешней Польской республики в почти пресные (ноль целых восемь десятых процента соли) воды Балтийского моря.

Тихо, словно заклинание, бормоча под нос заветную цитату: «Висла — это широкая, с каждым воспоминанием все более привольная река, вполне судоходная, несмотря на обилие песчаных отмелей», — Брауксель пускает по столешнице своего письменного стола, превратившейся в наглядный макет дельты Вислы, паромную переправу в виде изрядно потертого ластика и сей же час, поскольку первая утренняя смена уже заступила, а день начинается громким

чириканием воробьев, водружает девятилетнего Вальтера Матерна — ударение по последнем слоге: Матёрн — на самый гребень никельсвальденской дамбы прямо под лучи заходящего солнца; Вальтер скрежещет зубами.

А что, собственно, происходит, когда девятилетний сын мельника, высвеченный лучами закатного солнца, стоит на гребне дамбы, смотрит на реку и скрежещет зубами наперекор ветру? Это у него от бабки, которая девять лет сиднем просидела в своем деревянном кресле и только и могла, что глазами лупить.

По воде много всего плывет, и Вальтер Матерн на все на это смотрит. А здесь, перед самым устьем, еще и море помогает. Говорят, в дамбе мыши. Так всегда говорят, коли дамбу прорывает, — мол, мыши в дамбе. Меннониты говорят, это, дескать, поляки-католики среди ночи прокрались да мышей в дамбу напустили. А еще говорят, кто-то видел плотинного графа — всадника на белом коне*. Но страховая компания не желает верить рассказам — ни про поляков-католиков, ни про графа из Гютланда. Когда дамбу прорвало — из-за мышей, — граф, как и положено по преданию, на своем белом коне ринулся навстречу хлынувшей волне, только проку от этого все равно мало, потому что Висла уже поглотила всех плотинных зрителей. И польских католических мышей тоже. Поглотила и грубых меннонитов, тех, что с крючками и петлями, но без карманов, и меннонитов тонких, с пуговицами, петлицами и с дьявольскими карманами*, поглотила в Гютланде и трех прихожан евангелической церкви, а заодно и учителя-социалиста. Поглотила в Гютланде и скотину мычащую, и резные деревянные колыбельки, поглотила вообще весь Гютланд — гютландские кровати и гютландские шкафы, гютландские часы с боем и клетки с канарейками, гютландского проповедника — этот был из грубых меннонитов, с крючками и петлями, — поглотила и проповедницкую дочку, а она, говорят, очень была собой хороша.

Все это и много чего еще тащится по воде. Что вообще может нести в своих водах такая река, как Висла? Да все, что идет прахом, — дерево и стекло, карандаши, разные написания имени Брауксель, стулья, косточки, но и заходы, закаты. Все, что забыто и быльем поросло, вдруг всплывает в водах Вислы спиной или брюхом вверх и влачится в потоке воспоминаний: вот и Адальберт* пришел. Он приходит пешим. И тут его сшибает огромным суком. Но Святнополк* все равно примет крещение. А что станется с дочерьми Мествина?* Вот одна, босая, бросилась наутек — убежит или нет? Кто возьмет ее с собой? Богатырь Милигедо* со своей чугунной палицей? Или огненно-рыжий Перкунас? А может, бледный Пеколс, тот, что все время глядит исподлобья? Отрок Потримпс* только посмеивается и жует свои пшеничные колоски. Дубы уже срублены*. Еще один скрежет зубовой — и вот уже дочка князя Кестутиса* идет в монастырь. Двенадцать рыцарей без голов, двенадцать монахинь без голов, зачем они пляшут на мельнице? Мельница крутится, мельница вертится, монашки и рыцари на Сре-тенье встретятся; крутится мельница, вертится мельница, души в муку, а мука что метелица; крутится мельница, вер-тится мельница, последним куском мы с костлявой поде-лимся; мельница вертится, мельница крутится, монашки и рыцари стерпятся-слюбятся... Когда, однако же, мель-ница запылилась изнутри и к ней стали подкатывать эки-пажи для безголовых рыцарей и безголовых монахинь, и когда много позже — заходы, закаты — святой Бруно* прошел сквозь пламя, а разбойник Бобровский со своим дружкой Матерной*, от которого все и пошло, ходили по дворам и подпускали красного петуха всюду, где на во-ротах уже были кем-то услужливо намалеваны кресты, — закаты, заходы — и Наполеон, до и после*, когда город был осажден по всем правилам военного искусства, ибо на нем были неоднократно и с переменным успехом опробованы знаменитые пороховые ракеты Конгрева*, — но и в самом

городе, и на его укреплениях, на бастионах Волк, Медведь, Буланый и на бастионах Выскок, Кролик и Девкина Дырка, задыхались в чаду французы, чертыхались от бессильной злобы поляки с их князем Радзивиллом*, тщетно надрывал глотки полк однорукого капитана де Шамбюра. Однако пятого августа к городу подступил доминиканский паводок, вода без всяких штурмовых лестниц с первого приступа взяла бастионы Буланый, Кролик и Выскок, подмочила пороха, с шипением и треском загасила в своих толщах грозные ракеты Конгрева и запустила в город, в его улочки и закоулки, кладовки и кухни несметные полчища рыбы, особенно щук — вот уж кто поживился на славу, хоть провиантские склады на Хмельной улице к тому времени и были сожжены, — заходы, закаты. Такой реке, как Висла, все к лицу и все ее красит: закаты и кровь, глина и пепел. Ей бы улететь вместе с вольным ветром. Но не всякая воля исполняется, и реки, которым так хочется в небо, тоже впадают в Вислу.

ВТОРАЯ УТРЕННЯЯ СМЕНА

Вот она, здесь, на столешнице у Браукселя, и перекачивается через шивенхорстскую дамбу, изо дня в день. А на никельсвальденской дамбе стоит Вальтер Матерн и скрежещет зубами — ибо вода сходит. Как отмытые, помолодевшие, обнажаются из-под воды дамбы. Только скрещенные крылья ветряков, туповерхие колокольни да тополя — Наполеон приказал посадить их тут для прикрытия своей артиллерии — лепятся, как приклеенные, на их гребнях. И он, Вальтер, стоит один-одинешенек. Правда, с собакой. Но та не стоит, носится — то она там, то тут. За его спиной, уже в полумраке и ниже уровня реки, раскинулась отвоєванная людьми Пойма, и пахнет маслом, сывороткой, сливками, сыроварнями, почти до тошноты пахнет здоровьем и молоком. Вот он стоит, девятилетний пацан, по-хозяйски

расставив ноги с багрово-синюшными коленками, растопырив обе свои пятерни, прищулив глаза и напыжившись так, что все шрамы и царапины, все отметины и следы падений, драк и нырков под колючую проволоку на его стриженной макушке набухают от напряжения, вот он, Вальтер Матерн, скрежещет зубами, двигая челюстью слева направо — эта привычка у него от бабки, — и ищет камень.

А на дамбе хоть шаром покати. Но он все равно ищет. Сухие сучки есть, это он видит. Но сухой сучок против ветра не швырнешь. А ему хочется, надо, невтерпёж швырнуть. Мог бы свистнуть, подозвать Сенту, которая то тут, то там, но не свистит, только скрежещет зубами — чтобы ветер заглушить — и хочет что-нибудь швырнуть. Мог бы криком «Эй, ты!» обратить на себя взор Амзеля, что копошится внизу под дамбой, но во рту у него только скрежет зубовой и нет места ни для какого «Эй, ты!», и ему хочется, надо, очень надо швырнуть, а в карманах, как назло, ни одного камушка; обычно-то у него в каком-нибудь из карманов обязательно камушек найдется, если не два, а сейчас нету.

Такие камушки в здешних местах называют «голышами». Евангелические говорят — «голыши», и немногие католики — тоже говорят «голыши». Грубые меннониты — «голыши». И тонкие меннониты — «голыши». И Амзель, который вообще-то любит быть не таким, как все, тоже говорит «голыш», когда имеет в виду камень. И Сента, если ей сказать: «Принеси-ка голыш», обязательно принесет камушек. И Криве говорит «голыш», Корнелиус, Кабрун, Байстер, Фольхерт, Август Шпангель и майорша фон Анкум — все так говорят; и проповедник Даниэль Кливер из Пазеварка, обращаясь к своей пастве, что к грубым, что к тонким меннонитам, говорит примерно так: «И тады мальш Давид как возьмет голыш и как заедет ентому дылде Голиафу...»* Потому как «голышом» в здешних местах называют всякий «сподручный», удобный камушек величиной примерно с голубиное яйцо.

Но Вальтер Матерн, как назло, ничего такого в карманах не находит. В правом только крошки да семечки, а вот в левом, между кусками бечевки и бренными останками кузнечика — а зубы тем временем скрежещут, а солнце между тем скрылось, а Висла течет, влача в своих водах что-то из Гютланда, что-то из Монтау, а Амзель все еще копается, и облака куда-то, и Сента против ветра, а чайки на ветру и дамбы чисты как вылизанные, а солнце ушло, ушло, ушло, — он нашаривает свой перочинный нож. Солнце заходит в восточных краях медленнее, чем в западных, это любому ребенку известно. Висла течет от одного небосклона к противоположному. Вот уже от шивенхорстской пристани отделился паром с намерением дотащить, косо идя наперерез течению и всеми силенками упираясь, дотащить два товарных вагона до рельсов узкоколейки, что протянулась от Никельсвальде до Штуттхофа. Как раз сейчас кусок дубленой кожи по имени Криве отвернет от ветра свое бычье лицо и начнет ощупывать неморгающим, почти без ресниц, взглядом противоположную дамбу: лениво вращаются крылья ветряка, а вон тополя — Криве их наперечет знает. Глаза у него слегка навькате, и выражение в них несгибаемое, а рука в кармане. Наконец он соизволяет опустить взгляд чуть пониже — а что это там копошится возле самой воды, этакое смешное и круглое, и, похоже, норовит что-то выудить из Вислы? Да это же Амзель охотится за старьем. А зачем ему старье, это любому ребенку известно.

Дубленому Криве, однако, неизвестно, что такое обнаружил Вальтер Матерн в своем кармане, обшаривая его в тщетных поисках голыша. И пока Криве прячет свое сыромятное лицо от ветра, нож в ладони Вальтера Матерна потихоньку согревается. Это Амзель ему нож подарил. Три лезвия, штопор, пила и даже шило. Краснощекий увалень Амзель, уморительно смешной, когда он плачет. Амзель, который сейчас внизу под дамбой копается

в прибрежной тине, ибо хотя сейчас Висла медленно, пядь за пядью, на палец в час, отступает, но, когда от Монтау до Кеземарка потоп, она поднимается до самого гребня дамбы и оставляет разные вещи, иной раз аж из самого Пальшау.

Ушло. Село. Упало там, на горизонте, за дамбу, оставив только разгорающийся багрянец. И тогда — один лишь Брауксель это знает — Вальтер Матерн еще крепче сжимает нож, который покамест у него в кармане. Амзель — тот немного помоложе Вальтера Матерна. Сента, черным-черна, мышкует вдалеке, такая же черная, как багрово-закатное небо над шивенхорстской дамбой. Дохлая кошка в ветвях плавника. Чайки совокупаются на лету, шелковистая оберточная бумага на ветру трепещет — то расправится, то свернется; стеклянные глаза-пуговицы цепко видят все, что плывет, парит, юркает, шмыгает, затаилось, замерло или просто существует на свете, как существуют две тысячи веснушек на физиономии Амзеля; видят и то, что на голове у него каска, какие носили еще до Вердена*. Каска сползает на глаза, надо ее отодвинуть на макушку, она опять сползает, мешая Амзелю выуживать из тины штакетины, жерди и свинцово набрякшее тряпье, — вот тут-то как раз из ветвей на прокорм чайкам вываливается кошка. Мыши снова снуют в недрах дамбы. И паром все еще приближается к берегу. Река несет и вращает дохлую рыжую псину. Сента нюхает ветер. Паром упрямо и зло тащит наперекз течению два товарных вагона. И телку, уже неживую, тоже несет река. Ветер вдруг стих, запнулся, но еще не переменялся. Чайки замерли в воздухе, они в недоумении. И вот тут, покуда все это — паром и ветер, телка и солнце за дамбой, мыши в дамбе и чайки на лету, — Вальтер Матерн достает из кармана зажатый в кулаке нож, прижимает его — а Висла все течет — к шерстяной груди свитерка и стискивает что есть силы, так что костяшки пальцев в разгорающемся зареве отливают мелом.

ТРЕТЬЯ УТРЕННЯЯ СМЕНА

Каждый ребенок от Хильдесхайма до Заршtedта знает, что добывается у Браукселя в рудниках — тех самых, что пролегли от Заршtedта до Хильдесхайма.

Каждый ребенок знает, почему сто двадцать восьмой пехотный полк, погрузившись в двадцатом году в эшелон, вынужден был оставить* в Бонзаке ту каску, которую носит сейчас Амзель, наряду с множеством других касок, грудой обмундирования и парочкой походных кухонь, именуемых на солдатском наречии «гуляш-мортирами».

А вот опять кошка. Каждый ребенок знает — это уже другая кошка, только мышам это невдомек и чайкам тоже. Кошка плывет мокрей мокрого, дохлей дохлого. А вот и еще что-то несет, не собаку и не овцу, эге, да это платяной шкаф. С паромом он вроде уже разминулся. И в тот миг, когда Амзель вытягивает из тины очередную жердь, а кулак Вальтера Матерна сжимает нож что есть силы, до дрожи, — в этот миг кошка обретает свободу: ее подхватывает течением и несет в открытое море, в открытое небо... Чайки все меньше, мыши шебаршатся в дамбе, Висла течет, нож в кулаке дрожит, ветер называется норд-вест, дамбы молодеют на глазах, море всеми силами упирается, не пуская в себя реку, солнце все еще заходит и никак не зайдет, а паром все еще тащится, тащит себя и два вагона, наперерез течению. Паром не опрокинется, дамбы не прорвутся, мыши ничего не боятся, солнце вспять не повернет, и Висла не повернет вспять, и паром не повернет, и кошка, и чайки, и облака, и пехотный полк, Сента не хочет обратно к волкам, а хочет... умница, умница, умница... Вот и Вальтер Матерн не хочет класть обратно в карман тот перочинный нож, что недавно подарил ему толстяк-коротышка-увалень Амзель; наоборот, кулаку, что сжимает в себе нож, даже удастся побелеть еще чуточку сильнее. И зубы где-то над кулаком скрежещут слева направо. Но вот кулак чуть разжался, и, куда вокруг все

течет, движется, тонет, влачится, кружит, прибывает, убывает, кровь, что застоялась в запястье, теплой волной приливает к ладони, и Вальтер Матерн легко вскидывает за голову кулак с теплым ножом, вот он уже стоит только на одной ноге, да и то на носке, почти на цыпочках, на кончиках пальцев, что привычно мерзнут в зашнурованном ботинке, потому что без чулка, как бы приподняв весь свой вес и уже перенеся его назад, за плечо, в закинутую руку, и не целится никуда, и даже почти не скрипит зубами; и в этот быстро текущий, уходящий, уже канувший миг — даже Браукселю его не спасти, ибо он забыл что-то, напрочь забыл, — вот сейчас, когда Амзель отрывает наконец взгляд от прибрежной слякоти и сдвигает стальную каску с одной тысячи своих веснушек на вторую, со лба на затылок, — в этот миг выкинутая вперед ладонь Вальтера Матерна уже пуста, легка и сохраняет лишь вмятины, отпечаток перочинного ножа, у которого имелось три лезвия, штопор, пила и даже шило; а в пазы рукоятки забились морские песчинки, остатки мармелада, сосновые иголки, труха от коры и сгустки кротовой крови; ножа, за который запросто можно было выменять новый велосипедный звонок; даже не украденного, а честно купленного Амзелем на честно заработанные деньги в лавке у собственной матери, а потом подаренного им своему другу Вальтеру Матерну; ножа, который прошлым летом во дворе у Фольхертов пригвоздил к воротам сарая бабочку, а под паромной пристанью, куда причаливает Криве, однажды за один день прикончил четырех крыс, в дюнах едва не прикончил кролика, а две недели назад пронзил крота, прежде чем того успела взять Сента. Пока что ладонь все еще хранит на себе отпечаток ножа, того самого, которым Вальтер Матерн и Эдуард Амзель, когда им было по восемь лет и очень хотелось заключить кровное братство, сделали себе надрезы на руке, там, где мускулы, потому что Корнелиус Кабрун, который был в немецкой Юго-Западной Африке* и знает обычаи готтентотов, так им рассказывал.

ЧЕТВЕРТАЯ УТРЕННЯЯ СМЕНА

Тем временем — ибо, пока Брауксель изучает историю ножа, пока он экспериментальным путем исследует траекторию полета ножа с учетом силы броска, сопротивления ветра, закона всемирного тяготения, времени у него остается ровно столько, что он едва успевает засчитать себе целый рабочий день от одной смены до другой и написать «тем временем», — так вот, тем временем Амзель тыльной стороной ладони сдвигает каску со лба на затылок. Взгляд его скользит вверх по склону дамбы, успевает заметить и бросок, и бросившего и перехватить на лету брошенный предмет; а нож, утверждает Брауксель, тем временем достиг той высшей точки, какой достигает всякий предмет, движущийся вверх под воздействием внешней силы, — а тем временем Висла течет, кошка дрейфует, чайка кричит, паром приближается, сука Сента чернеет на фоне неба, а солнце все заходит и никак не зайдет.

Тем временем — ибо, когда брошенный предмет достигает той высшей точки, после которой начинается падение, он на секунду как бы замирает, пребывая в кажущейся неподвижности, — так вот, пока нож на секунду замирает в этой точке, Амзель отрывает от него взгляд и снова — а нож тем временем начинает падать в воду, стремительный и обреченный под порывами встречного ветра, — снова смотрит на своего друга Вальтера Матерна, который все еще балансирует на одной ноге в зашнурованном ботинке, без чулка, правая рука все еще вытянута, а левая для равновесия загребает воздух.

Тем временем — ибо, пока Вальтер Матерн балансирует на одной ноге, стараясь сохранить равновесие, пока Висла и кошка, мыши и паром, Сента и солнце, пока перочинный нож падает в воду, — на руднике Браукселя заступила очередная утренняя смена, а ночная, наоборот, отшабашила и разъехалась по домам на велосипедах, комендант запер

штейгерский барак, а воробьи во всех канавах возвестили приход нового дня... Амзелью тогда все же удалось — то ли своим шустрым взглядом, то ли чуть менее шустрым криком — вывести Вальтера Матерна из едва сохраняемого равновесия. И хотя тот и не свалился с самой кромки никельсвальденской дамбы, однако качнулся, зашатался и накренился так, что потерял из вида свой нож и не углядел, как тот соприкоснулся с водами Вислы и юркнул вглубь.

— Эй, Скрыпун! — кричит Амзель. — Опять зубами скрипишь и швыряешься чем ни попадя?

Вальтер Матерн, которому адресованы и этот вопрос, и кличка Скрыпун, уже снова твердо стоит на ногах, сверкая ободранными коленками и потирая ладонь своей правой руки, на которой остывающим контуром меркнет отпечаток ножа.

— Ты же видел, что швыряюсь, чего зря спрашиваешь?

— Но ты не голышом швырнулся.

— А если нет голыша.

— А чем ты швырнулся, коли голыша нет?

— Кабы у меня был голыш, я б голышом швырнулся.

— Чего же ты Сенту не послал, она бы тебе принесла.

— Этак любой дурак скажет: «Чего же ты Сенту не послал». Попробуй, пошли эту тварь, она вон за мышами носится.

— Чем же ты тогда швырнулся, коли голыша не было?

— Заладил тоже — чем да чем? Чем надо, тем и швырнулся. Будто сам не видел.

— Ты ножиком моим швырнулся.

— Это мой был ножик. Подарок — он подарок и есть. Кабы у меня голыш под рукой был, разве стал бы я ножом швыряться.

— Мог бы сказать по-человечески, что у тебя там голыша нет, я б тебе мигом бросил, у меня их тут навалом.

— Чего зря языком молоть, все равно его уже не вернешь.

— Может, мне новый подарят на Вознесение.

- А я, может, не хочу новый.
- Ну, если бы я тебе его отдал, захотел бы.
- А спорим, что не возьму?
- А спорим, что возьмешь?
- А спорим, что нет?
- А спорим, что да?

И они ударили по рукам — зажигательное стекло против оловянных гусаров, — причем Амзель подает свою веснушчатую ладонь снизу, а Вальтер Матерн, наклонившись, тянет свою, еще с отпечатком ножа, ему навстречу и, скрепив спор рукопожатием, одновременно втаскивает Амзеля на гребень дамбы.

Амзель настроен миролюбиво:

— Ты такой же чудной, как ваша бабка на мельнице. Она тоже зубами скрипит, какие у нее еще остались. Правда, она у вас не швыряется. Зато поварешкой дерется дай боже.

Сейчас, когда оба стоят на дамбе, видно, что Амзель росточком пониже. Говоря о бабке Вальтера Матерна, он тычет большим пальцем через плечо, где позади дамбы вдоль дороги растянулась деревушка Никельсвальде, а чуть поодаль виднеется принадлежащая Матернам ветряная мельница. Амзель тянет вверх по склону дамбы свою сегодня не слишком богатую добычу — связку штaketин, жердин, выкрученного тряпья. Рука его то и дело тянется к каске, которая застит ему глаза. Паром уже причалил к никельсвальденской пристани. Слышен лязг двух вагонов. Черное пятно, Сента, то больше, то меньше, снова больше, приближается. Снова тащится мимо какая-то утопшая животи́на. Висла течет, во всю ширь расправив плечи. Вальтер Матерн кутает правую руку в драную бахрому свитера. Между ним и Амзелем твердо стоит на всех своих четырех лапах Сента. Вываленный налево язык ритмично подрагивает. Она не сводит глаз с Вальтера Матерна, потому что он опять зубами. Это у него от бабки, которая девять лет сиднем и только глазами.

Наконец они тронулись — три неодинаковые фигурки движутся по кромке дамбы в сторону пристани. Вот бежит, черным-черна, Сента. Потом, на полшага впереди попутчика, Амзель. Следом, на полшага сзади, Вальтер Матерн. Он волочит сегодняшний улов Амзеля. Трава, примятая связкой досок и тряпья, нехотя распрямляется, покуда вся троица медленно исчезает на дальнем конце дамбы.

ПЯТАЯ УТРЕННЯЯ СМЕНА

Итак, как и было условлено, Брауксель прилежно склоняется над бумагой, а тем временем другие летописцы с не меньшим усердием, добросовестно соблюдая сроки, тоже склонились над картиной прошлого, каждый над своим манускриптом, дав волю безудержному течению Вислы.

Пока что Браукселю нравится припоминать все в точности: много-много лет назад, когда дитя явилось на свет, но еще не могло скрежетать зубами, ибо, как и все дети на земле, явилось на свет беззубым, бабка Матернов сидела в своей верхней горенке, прикованная к своему стулу, вот уже девять лет не в силах пошевелиться, а в силах только вращать глазами, лопотать что-то невразумительное и пускать слюни.

Верхняя горенка — это такая комната, нависающая над кухней, одним окном выглядывающая во двор, чтобы можно было присматривать за прислугой, а другим — на ветряную мельницу Матернов, примечательную тем, что она посажена на козлы и тем самым вот уже более ста лет являла собой классический тип мельницы немецкой. Матерны построили ее в одна тысяча восемьсот пятнадцатом году, вскоре после взятия города и крепости Данциг доблестью победоносного российского и прусского оружия; благо Август Матерн, дед нашей прикованной к стулу старушенции, во время длительной, нудной и ведущейся без всякого азарта осады города сообразил организовать весьма выгодные сделки, так

сказать, с двойным дном: с одной стороны, с весны он начал поставлять некоему заказчику, платившему за это полновесными серебряными талерами, штурмовые лестницы, с другой же, получая в уплату за эти услуги так называемые «талеры с листьями»*, а также еще более вожаделенную брабантскую валюту*, контрабандой отправлял в Данциг генералу графу д'Оделе коротенькие депеши, в коих делился своими недоумениями: с какой это стати весной, когда до сбора яблок еще бог весть сколько времени, русским понадобилась такая уйма приставных лестниц.

А когда генерал-губернатор граф Рапп* в конце концов подписал акт капитуляции крепости, в отдаленной деревушке Никельсвальде Август Матерн, выложив дома на столе изрядную горку датских монет — так называемых «специй» и «двух третей», — горку быстро поднимающихся в цене рублей, горку гамбургских марок, талеров обычных и талеров с листьями, мешочек голландских гульденов и стопку только что добытых данцигских «бумаг»*, счел, что он неплохо обеспечен и предался радостям строительства: старую мельницу, в которой, по преданию, после сокрушительного поражения Пруссии* соизволила переночевать королева Луиза, ту мельницу, чьи махи, иглицы и дранка пострадали сперва от датской атаки с моря, а затем при ночном яростном прорыве отступающего добровольческого корпуса капитана де Шамбюра, Август Матерн распорядился снести всю, кроме козел, где дерево было еще добротным, и водрузил на старые козлы новую мельницу, которая благополучно просидела на них своим гузном до той поры, покуда бабке Матерн не пришлось на долгие годы засесть в кресло в полной неподвижности. В этом месте Брауксель решает, пока не поздно, вернуть, что на свои сбережения, доставшиеся когда тяжким трудом, а когда и легкой смекалкой, Август Матерн не только отгрохал себе новую мельницу на старых козлах, но и пожертвовал часовне в Штегене, где жили кое-какие католики, фигурку

Мадонны, которая, впрочем, хоть даритель и не поскупился на сусальное золото, не явила миру ни чудес, ни сколько-нибудь заметного паломничества.

Вообще католицизм семейства Матернов определялся, как и положено в семье мельника, тем, откуда ветер дует, а поскольку на побережье в любой день какой-никакой ветерок обязательно сыщется, ветряное колесо мельницы Матернов худо-бедно крутилось круглый год, как крутилось и все семейство, воздерживаясь от чрезмерно частых и раздражающих соседей-меннонитов походов в церковь. Только на крестины и похороны, на свадьбы или по большим праздникам часть семьи отправлялась в Штеген, да еще раз в году, по случаю праздника тела Христова и положенной в этот день процессии, вся мельница, включая козлы со всеми их шпонами и гнездами, мельничные балки и постав, кружловину, седло и поворотный брус, а перво-наперво крылья со всеми их щитиками, окроплялась святой водой и осенялась крестным знаменем — роскошь, которую, кстати говоря, Матерны ни в жизнь не смогли бы себе позволить в таких истоно меннонитских деревнях, как Юнкеракер или Пазеварк. Однако меннониты деревни Никельсвальде, которые все как один выращивали на жирных землях поймы тучную пшеницу и волей-неволей зависели от католической мельницы, обнаруживали куда больше учтивости, то есть не боялись носить одежду с пуговицами, а особенно с настоящими карманами, благо туда было что положить. Один только рыбак и никудышный крестьянин Симон Байстер оставался истовым меннонитом, с крючками и петлями, был неучтив и без карманов, поэтому на его лодочном сарае красовалась деревянная вывеска с надписью завитушками:

Кто крючки да петли носит,
Того Боженька не бросит.
У кого карман да пуговицы,
Тот навек с чертями спутается.

Но Симон Байстер был в Никельсвальде один такой, кто возил молотье свое зерно не на католическую мельницу, а в Пазеварк. Однако, похоже, это все-таки не он в тринадцатом году, незадолго до большой войны, уговорил спившегося батрака из Фраенхубена подпалить мельницу Матернов чем только можно и со всех концов. Пламя уже выбивалось из-под козел и станины, когда Перкун, молодой пес работника Павла, которого, впрочем, никто иначе как Паулем не называл, неистово мечась вокруг мельницы черным волчком и оглашая округу сухим, хриплым лаем, все-таки заставил и Павла, и его хозяина-мельника выйти на крыльцо.

Павел, или, проще говоря, Пауль, привел с собой этого зверюгу из Литвы и охотно показывал всем желающим нечто вроде его родословной, из которой явствовало, что бабка Перкуна по отцовской линии была то ли польской, то ли литовской, то ли русской волчицей.

А Перкун зачал Сенту; Сента принесла Харраса; Харрас зачал Принца; а Принц творил историю... Но пока что бабка Матернов все еще сиднем сидит в своем кресле и может только лупить да вращать глазами. Не в силах шевельнуться, она вынуждена просто наблюдать, как невестка хлопчет по дому, сын возится на мельнице, а дочь Лорхен бог весть чем занимается с работником Павлом. Но работник пропадет на войне, а Лорхен после этого малость потеряет рассудок: с этой поры она повсюду — в доме и на огороде, на мельнице и на дамбе, в зарослях крапивы и в сарае у Фольхертов, в дюнах и босиком по прибрежному песку, за дюнами и в чернике прибрежной рощи — всюду будет искать своего Пауля, о котором так никогда и не узнает, кто — пруссаки или русские — загнали его в сырую землю. И только пес Перкун неизменно будет сопровождать в этих поисках кротко увядающую молодницу, делившую с ним одного господина.

ШЕСТАЯ УТРЕННЯЯ СМЕНА

Итак, давным-давно — Брауксель отсчитывает годовщины по пальцам, — когда в мире уже третий год шла война, Пауль сгинул где-то в мазурских болотах, Лорхен с псом бродила по всей округе, а мельник Матерн по-прежнему продолжал таскать мешки, поскольку стал плохо слышать на оба уха и для армии не годился, — в один прекрасный солнечный день бабка Матернов сидела дома одна, поскольку все ушли на крестины, — сорванец и большой любитель швыряться перочинным ножом из предшествующих утренних смен в этот день был наречен именем Вальтер, — сидела сиднем, вращала глазами, что-то бормотала, пускала слюни, но тем не менее, увы, не могла произнести ничего вразумительного.

Она сидела в своей горенке, и по лицу ее пробегали стремительные тени. Лицо то вспыхивало, то исчезало в тени, то высвечивалось, то темнело. И мебель, целиком и частями: карниз буфета, горбатая крышка сундука, красный, вот уже долгих девять лет несминаемый плюш резной молельной скамеечки — все это вспыхивало, меркло, теряло и вновь обозначало свои очертания то в дрожащей пыльной взвеси солнечной дорожки, то в сером беспыльном полумраке на лице бабки и на ее мебели. На ее чепце и ее любимом, голубого стекла, бокале в горке буфета. На бахроме рукавов ее ночного халата. На выскобленном добела полу и на шустрой, примерно в ладонь величинной черепахе, которую подарил ей когда-то их работник Пауль и которая, поблескивая панцирем и бодро переползая из угла в угол, питалась листьями салата, оставляя на своем любимом лакомстве ровные полукруглые надкусы, и давно Пауля пережила. И эти листья, рассыпанные по всему полу верхней горенки и окаймленные аккуратным орнаментом черепаховых надкусов, тоже то и дело мерцали — блик, блик, блик, — ибо во дворе за домом,

усердно и в соответствии со скоростью ветра, составлявшей восемь метров в секунду, вращала своими крыльями матерновская мельница, перемалывая пшеницу в муку и заодно успевая за каждые три с половиной секунды заставить солнце четыре раза.

Примерно в то же время, когда в горнице у бабки творилась эта демоническая свистопляска света и тени, младенец тронулся в путь по проселочной дороге через Пазеварк и Юнкеракер в Штеген — к своей крестильной купели, а подсолнухи у забора, что отгораживал участок Матернов от проселка, раскрывались все шире и шире, наклоняясь друг к другу и млея на том самом солнце, которое четыре раза за три с половиной секунды успевали заставить крылья ветряной мельницы, — подсолнухи, они-то могли услаждаться солнцем без малейших перерывов, ибо мельница между ними и солнцем никогда не встревала, только между солнцем и домом, причем даже в полдень встревала между неподвижной, сиднем сидящей бабкой и солнцем, которое в здешних краях светит хоть и не беспрерывно, но достаточно часто.

Так сколько уже лет бабка Матернов прикована к креслу?

Девять лет в верхней горенке.

Сколько-сколько — за геранями, ледяными узорами, вьюнками и душистым горошком?

Девять лет — свет-тьнь, свет-тьнь со стороны мельницы. А кто же это ее так надолго усадил?

Это невестушка ее, Эрнестина, в девичестве Штанге, ей так удружила.

Да как же такое могло случиться?

Эта евангеличка из Юнкеракера сперва выжила Тильду Матерн, которая в ту пору еще вовсе не была бабкой, скорее напротив, крепкой и громогласной хозяйкой, из кухни, затем распростерла свое влияние по всему дому до прихожей и обнаглела до того, что даже в праздник тела

Христова стала мыть окна. Когда же Стина попробовала выжить свекровь и со скотного двора, тогда, в курятнике, в первый раз дошло и до рукопашной, да так, что от кур только перья летели — женщины лупили друг друга кормовыми лоханями.

Все это, вычисляет Брауксель, должно было случиться году эдак в девятьсот пятом; ибо, когда двумя годами позднее Стина Матерн, в девичестве Штанге, все еще не выказывала ни малейшего интереса к зеленым яблокам и соленым огурцам, а по ее месячным можно было хоть календарь сверять, Тильда Матерн заявила своей невестке, которая, скрестив руки, нагло стояла перед ней в верхней горенке:

— Не зря я всю жисть думала, что каждой евангеличке черт мышей в дырку запускает. Они там все и грызут, вот ничего оттудова и не выходит, только вонь одна.

После этих слов разразилась настоящая религиозная война, причем сражение велось деревянными поварешками и закончилось для католической стороны весьма плачевно: дубовое кресло, то, что стояло между кафельной печкой и молельной скамеечкой, приняло в свои объятия Тильду Матерн, когда ее хватил удар. С тех пор она девять лет сидела на этом троне безотлучно — за исключением тех недолгих минут, когда чистоты ради Лорхен и служанка приподнимали ее с кресла справить нужду.

Когда девять лет прошло и вдруг выяснилось, что в лоне у евангеличек вовсе не заводятся дьявольские мышки, которые все сгрызают и ничему не дают созреть, а что, напротив, лоно это способно выносить, и не что-нибудь, а даже сына, — бабка Матерн, покуда в Штегене при хорошей погоде шли крестины, по-прежнему и все так же не сдвигаясь сидела в своем кресле. А под верхней горенкой, внизу на кухне, в духовке жарился гусь, истекая и шипя собственным жиром. Он шипел и жарился на третьем году большой войны, когда гуси стали настолько редкими птицами, что их уже даже причисляли к вымирающим видам

животного мира. А Лорхен Матерн — та самая, с родимым пятном, плоской грудью и кучерявыми волосами, Лорхен, которой не досталось мужа, потому что ее Пауль в сырой земле, Лорхен, которой надлежало за гусем неустанно следить, гуся жиром поливать, гуся переворачивать, приговаривать над ним заветные слова и прибаутки, — вместо этого встала между подсолнухов у забора, который новый работник по весне, слава богу, хоть побелил, твердя поначалу ласково, потом озабоченно, потом с досадой, а затем опять по-хорошему, снова и снова одни и те же слова кому-то за забором, кому-то, кто за забором вовсе не стоял и не проходил мимо в смазанных, хотя и скрипучих сапогах и в шароварах, и тем не менее звался Паулем и даже Паульчиком, и якобы ей, Лорхен, стареющей барышне с водянистым взором, что-то должен был отдать, что он у нее забрал. Но Пауль ничего не отдавал, хотя время вроде было подходящее — тихо, если не считать жужжания летней мошкар, — и ветер со скоростью восемь метров в секунду наконец-то подобрал обувку по размеру и так ловко подгонял крылья мельницы, что те крутились, похоже, даже быстрее ветра и всего лишь за один помол превратили пшеницу крестьянина Мильке — он как раз приехал молотить — в превосходную пшеничную муку.

Ибо, хотя сын мельника и принимал крещение в деревянной часовне в Штегене, мельница Матерна даже по такому торжественному случаю не простаивала. Помольный ветер не должен пропадать зря. Для ветряной мельницы праздников не бывает, бывают только помольные дни и безветренные. А для Лорхен Матерн бывали только дни, когда ее Паульчик проходил мимо и останавливался у забора, и дни, когда никто мимо не проходил и у забора не останавливался. Когда колесо мельницы крутилось, Паульчик приходил и останавливался. Тявкал Перкун. Вдалеке, за наполеоновскими тополями, за избами Фольхертов, Мильке, Карбунов, Байстеров, Момбертсов

и Криве, за плоской крышей школы и за молочным двором Люрмана, сонным мыком перекликаются коровы. А Лорхен все твердит свое ласковое «Пауль-Паульчик», снова и снова «Пауль-Паульчик», а тем временем гусь в духовке, без полива, переворотов и прибауток, покрывается все более поджаристой праздничной корочкой.

— Ну отдай мне! Отдай сейчас же! Ну не будь таким. Зачем ты так? Отдай, пожалуйста, ты же знаешь, как мне это нужно. Отдай, не будь, ну почему же ты не хочешь...

Никто, ничего. Пес Перкун, вывернув голову на упругой шее, поскуливает вслед уходящему прохожему. Коровы набираются молока. Мельница восседает гузном на козлах и мелет зерно. Подсолнухи, кланяясь друг другу, творят свою таинственную молитву. В воздухе гудит мошकारа.

А тем временем гусь в печке начинает подгорать, сперва потихоньку, а затем все быстрее и недвусмысленней, в связи с чем бабка Матерн в своей верхней горенке над кухней начинает в беспокойстве вращать глазами быстрее, чем вертятся крылья мельницы. И покуда в Штегене крестный младенец извлекается из купели, а в верхней горенке черепаха величиной с ладонь переползает с одной выдраенной половицы на другую, бабка Матерн, мелькая в чересполосице бликов и чуя подгорающего гуся, бормочет все громче, все сильнее пускает слюни и пыхтит. И пыхтит так, что сперва из ноздрей, как и у всех старух в столь почтенном возрасте, топорщатся пучки волос, а затем, когда чадный угар заполняет горенку целиком, заставляя черепаху в испуге замереть, а листья салата на полу пожухнуть, из ноздрей у бабки тоже уже валит настоящий дым. Гнев, накапливавшийся в ней девять лет, требует выхода — в старухиной топке разгорается пламя. Словом, Везувий и Этна. Излюбленная адова стихия — огонь, усиливая игру света и тени, заставляет старуху содрогнуться, и вот, девять лет спустя, зловещая и грозная в набегающих бликах, она первым делом пробует сухо скрипнуть зубами слева

направо. И не без успеха: немногие пеньки, оставшиеся во рту у бабки Матерн вместо зубов, должно быть, под воздействием гари со скрипом и скрежетом трутся друг о друга. А тут еще вдобавок к драконьему шипению, скрежету зубовному, к клубам пара и струям огня раздается треск и летят щепки — это кресло, еще донаполеоновских времен, которое девять долгих лет, за исключением коротких, соображениями опрятности вызванных пауз, носило старухино брненное тело, не выдержало и распалось. В тот же миг черепаху на полу подбросило и перевернуло брюхом вверх. В ту же секунду потрескались и пошли се-точкой многие изразцы на кафельной печке. А внизу лопнул гусь, с шипением испустив из себя богатую начинку. Бабкин же трон, в мгновение ока превратившийся в деревянную труху такого тонкого помола, какой даже мельнице Матернов не снился, пыхнул облаком пыли, вознесясь над полом помпезным и причудливо освещенным памятником самой бренности и скрыв в своих пыльных формах саму бабку Матерн, которая, кстати, участь своего сидалища вовсе не разделила и, в отличие от того, отнюдь не думала обращаться в прах и тлен. Нет, прах, что медленно оседал на пожухлые листья салата, на перевернутый панцирь черепахи, на половицы и на мебель, был всего лишь дубовой трухой — сама же старуха, отнюдь еще не трухлявая, но грозная, вовсе не оседала, а, напротив, с хрустом и скрежетом, вся в электрических искрах, черно-бело-красных бликах мелькающих крыльев мельницы, поднялась из праха и тлена, скрипнула остатками зубов слева направо и с этим же скрипом сделала первый шаг — из света во тьму, потом снова в свет, шаг в тьму, шаг в свет, перешагнула полумертвую от ужаса черепаху, беззащитную и прекрасную в сернисто-желтой наготе своего панцирного брюшка, целеустремленно зашагала дальше, прочь от своего девятилетнего паралича, не поскользнулась на листьях салата, пнула дверь горенки, распахнув ее настежь, в своих